



Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать издалека. Мне следовало бы, будь это возможно, вернуться гораздо дальше назад, в самые первые годы моего детства, и еще дальше, в даль моего происхождения.

Писатели, когда они пишут романы, делают вид, будто они Господь Бог и могут целиком охватить и понять какую-то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если бы ее рассказывал себе сам Господь Бог, без всякого тумана, только существенное. Я так не могу, да и писатели так не могут. Но мне моя история важнее, чем какому-нибудь писателю его история; ибо это моя собственная история, а значит, история человека не выдуманного, возможного, идеального или еще как-либо не существующего, а настоящего, единственного в своем роде, живого человека. Что это такое, настоящий живой человек, о том, правда, сегодня знают меньше, чем

когда-либо, и людей, каждый из которых есть драгоценная, единственная в своем роде попытка природы, убивают сегодня скопом. Если бы мы не были еще чем-то большим, чем единственными в своем роде людьми, если бы нас действительно можно было полностью уничтожить пулей, то рассказывать истории не было бы уже смысла. Но каждый человек — это не только он сам, это еще и та единственная в своем роде, совершенно особенная, в каждом случае важная и замечательная точка, где явления мира скрещиваются именно так, только однажды и никогда больше. Поэтому история каждого человека важна, вечна, божественна, поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет волю природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом приобрел образ дух, в каждом страдает живая тварь, в каждом распинают Спасителя.

Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чувствуют это, и потому им легче умереть, как и мне будет легче умереть, когда я допишу эту историю.

Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все еще остаюсь им, но ищу я уже не на звездах и не в книгах, я начинаю слышать то, чему учит меня шумящая во мне кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй, она отдает бессмыслицей и душевной смутой, безумием и бре-

дом, как жизнь всех, кто уже не хочет обманываться.

Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каждый тем не менее стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобытности. Иной так и не становится человеком, остается лягушкой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверху человек, а внизу рыба. Но каждый — это бросок природы в сторону человека. И происхождение у всех одно — матери, мы все из одного и того же жерла, но каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей собственной цели. Мы можем понять друг друга, но объяснить можем каждый только себя.

## 1. ДВА МИРА

Я начну свою историю с одного происшествия той поры, когда мне было десять лет и я ходил в гимназию нашего города.

Многое наплывает на меня оттуда, пробирая меня болью и приводя в сладостный трепет, — темные улицы, светлые дома, и башни, и бой часов, и человеческие лица, и комнаты, полные уюта и милой теплоты, полные тайны и глубокого страха перед призраками. Пахнет теплой теснотой, кроликами и служанками, домашними снадобьями и сушеными фруктами. Два мира смешивались там друг с другом, от двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь.

Одним миром был отцовский дом, но мир этот был даже еще уже, он охватывал, собственно, только моих родителей. Этот мир был мне большей частью хорошо знаком, он означал мать и отца, он означал любовь и строгость, образцовое поведение и школу. Этому миру были прису-

щи легкий блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мягкая, приветливая речь, чистое платье, хорошие манеры. Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В этом мире существовали прямые линии и пути, которые вели в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и исповедь, прощение и добрые намерения, любовь и почтение, библейское слово и мудрость. Этому миру следовало держаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упорядоченной.

Между тем другой мир начинался уже в самом нашем доме и был совсем иным, иначе пахнул, иначе говорил, другое обещал, другого требовал. В этом мире существовали служанки и подмастерья, истории с участием нечистой силы и скандальные слухи, существовало пестрое множество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных вещей, таких, как бойни, тюрьма, пьяные и сквернословящие женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные и ужасные, дикие и жестокие вещи существовали вокруг, на ближайшей улице, в ближайшем доме, полицейские и бродяги расхаживали повсюду. Пьяные били своих жен, толпы девушек текли по вечерам из фабрик, старухи могли напустить на тебя порчу, в лесу жили разбойники, сыщики ловили поджигателей — везде бил клю-

чом и благоухал этот второй, ожесточенный мир, везде, только не в наших комнатах, где были мать и отец. И это было очень хорошо. Это было чудесно, что существовало и все то другое, все то громкое и яркое, мрачное и жестокое, от чего можно было, однако, в один миг укрыться у матери.

И самое странное — как оба эти мира друг с другом соприкасались, как близки они были друг к другу! Например, наша служанка Лина, когда она по вечерам, за молитвой, сидела в гостиной у двери и своим звонким голосом пела вместе с другими, положив вымытые руки на выглаженный передник, тогда она была целиком с отцом и матерью, с нами, со светлым и правильным. А сразу после этого, в кухне или дровянике, когда она рассказывала мне сказку о человечке без головы или когда она спорила с соседками в маленькой мясной лавке, она была совсем другая, принадлежала к другому миру, окружалась тайной. И так было со всем на свете, чаще всего со мной самим. Конечно, я принадлежал к светлому и правильному миру, я был сыном своих родителей, но, куда ни направлял я свой взгляд и слух, везде присутствовало это другое, и я жил также и в нем, хотя оно часто бывало мне чуждо и жутко, хотя там обыкновенно появлялись нечистая совесть и страх. Порой мне даже милее всего было жить в этом запретном мире, и возвращение домой, к светлому — при всей своей

необходимости и благотворности — часто ощущалось почти как возврат к чему-то менее прекрасному, более скучному и унылому. Иногда я знал: моя цель жизни — стать таким же, как мой отец и моя мать, таким же светлым и чистым, таким же уверенным и порядочным, но до этого еще долгий путь, до этого надо отсиживать уроки в школе, быть студентом, сдавать всякие экзамены, и путь этот идет все время мимо другого, темного мира, а то и через него, и вполне возможно, что в нем-то как раз и останешься и утонешь. Сколько угодно было историй о блудных сыновьях, с которыми именно так и случилось, я читал их со страстью. Возвращение в отчий дом и на путь добра всегда бывало замечательным избавлением, я вполне понимал, что только это правильно, хорошо и достойно желания, и все же та часть истории, что протекала среди злых и заблудших, привлекала меня гораздо больше, и если бы можно было это сказать и в этом признаться, то иногда мне бывало, в сущности, даже жаль, что блудный сын раскаялся и нашелся. Но этого ни говорить, ни думать не полагалось. Это ощущалось только подспудно, как некое предчувствие, некая возможность. Когда я представлял себе черта, я легко мог вообразить его идущим по улице открыто, или переодетым, или где-нибудь на ярмарке, или в трактире, но никак не у нас дома.



Мои сестры принадлежали тоже к светлому миру. Они, как мне часто казалось, были ближе к отцу и матери, они были лучше, нравственнее, непогрешимее, чем я. У них были недостатки, были дурные привычки, но мне казалось, что это заходит не очень глубоко, не так, как у меня, где соприкосновение со злом часто оказывалось мучительно-тяжким, где темный мир находился гораздо ближе. Сестер, как и родителей, надо было щадить и уважать, и, если случалось поссориться с ними, ты всегда оказывался плохим перед собственной совестью, зачинщиком, который должен просить прощения. Ибо в сестрах ты обижал родителей, добро и непреложность. Были тайны, поделиться которыми с самыми скверными уличными мальчишками мне было куда легче, чем с сестрами. В хорошие дни, когда все светло и совесть в порядке, бывало просто восхитительно играть с сестрами, держаться с ними приятно и мило и видеть самого себя в славном, благоприятном свете. Так, наверно, было бы, если бы сделаться ангелом! Ничего более высокого мы не знали, и нам казалось дивным блаженством быть ангелами, окруженными сладкозвучием и благоуханием, как сочельник и счастье. О, как редко выдавались такие часы и дни! За игрой, за хорошими, невинными, разрешенными играми, мною часто овладевала горячность, которая претила сестрам, вела к ссорам и

бедам, и, если на меня тогда находила злость, я становился ужасен, я делал и говорил вещи, делая и говоря которые в глубине души уже обжигался их мерзостью. Затем наступали скверные, мрачные часы раскаяния и самоуничужения, а за ними горькая минута, когда я просил прощения, потом снова, на какие-то часы или мгновения, — луч света, тихое, благодарное счастье без разлада.

Я учился в гимназии, сын бургомистра и сын старшего лесничего были в моем классе и иногда приходили ко мне, дикие сорванцы и все-таки частицы доброго, разрешенного мира. Тем не менее у меня были близкие отношения с соседскими мальчишками, учениками народной школы, которых мы вообще презирали. С одного из них я и начну свой рассказ.

Как-то в свободные часы второй половины дня — мне было чуть больше десяти лет — я слонялся без дела с двумя соседскими мальчишками. Тут к нам подошел третий, постарше, сильный и грубый малый лет тринадцати, ученик народной школы, сын портного. Его отец был пьяница, и вся семья пользовалась дурной славой. Франц Кромер был мне хорошо известен, и мне не понравилось, что он присоединился к нам. У него были уже мужские манеры, он подражал походкой и оборотами речи фабричным парням. Под его предводительством мы возле

моста спустились к берегу и спрятались от мира под первой мостовой аркой. Узкий берег между сводчатой стеной моста и вяло текущей водой состоял из сплошных отбросов, из черепков и рухляди, запутанных узлов ржавой проволоки и прочего мусора. Там можно было иногда найти полезные вещи; под предводительством Франца Кромера мы должны были обыскивать этот участок и показывать ему найденное. Затем он либо брал это себе, либо выбрасывал в воду. Он велел нам не пропускать предметов из свинца, меди и олова, их он все до одного забрал, как и роговую гребенку. Я чувствовал себя в его обществе очень скованно, и вовсе не от уверенности, что мой отец запретил бы мне водиться с ним, а от страха перед самым Францем. Я был рад, что он меня взял с собой и обращался со мной как с другими. Он приказывал, а мы повиновались, словно так заведено издавна, хотя я был впервые с ним вместе.

Наконец мы уселись на берегу. Франц плевал в воду и был похож на взрослого. Он плевал сквозь отверстие на месте выпавшего зуба и попадал куда хотел. Начался разговор, и мальчики стали бахвалиться своим геройством в школе и всяческими бесчинствами. Я молчал, боясь, однако, именно этим привлечь к себе внимание и вызвать гнев у Кромера. Оба моих товарища отделились от меня и взяли его сторону, я был чу-

жим среди них и чувствовал, что моя одежда и мое поведение бросают им вызов. Как гимназиста и барчука, Франц наверняка не мог любить меня, а те оба, я это прекрасно чувствовал, в случае чего отступились бы и бросили меня на произвол судьбы.

Только от страха начал в конце концов рассказывать и я. Я выдумал великолепную разбойничью историю, героем которой сделал себя. В саду возле Угловой мельницы, рассказывал я, мы с одним приятелем ночью утащили целый мешок яблок, причем не обычных, а сплошь ранет и золотой пармен, лучшие сорта. Убежал я в эту историю от опасностей той минуты, а выдумывать и рассказывать я умел. Чтобы тут же не умолкнуть и не угодить в еще худшее положение, я пустил в ход все свое искусство. Один из нас, рассказал я, стоял на страже, а другой сбрасывал яблоки с дерева, и мешок получился такой тяжелый, что под конец нам пришлось открыть его и половину отсыпать, но через полчаса мы вернулись и унесли и это.

Кончив рассказ, я надеялся на какое-то одобрение, к концу я разошелся, сочинительство опьянило меня. Оба мальчика выжидающе промолчали, а Франц Кромер, прищурившись, пронзил меня взглядом и с угрозой в голосе спросил:

— Это правда?

— Да, конечно, — сказал я.